



Александр МАЛИКОВ ● **МОНОЛОГИ**
(ГЛАВЫ ИЗ НЕБОЛЬШОЙ
ПОВЕСТИ)

Монолог первый: Я — брат артиста

Я родился в год последнего нашего дворцового переворота, больше того — в последний крымский день Хрущева. Не так давно это было? Однако поспорю: мне уже много, плюс еще век — мне все сто двадцать пять! Потому, что живу «под братом».

Братец снова затосковал, ленноновские пряди укрыли припухшее нездоровое лицо, и лишь стекляшки («как у Джона») выдают в нем жизнь. Вернее, ее останки...

Нужно что-то предпринимать, вот и прошу его поразмяться в монологе, по ходу которого он скорее всего преобразится. А я уж постараюсь его не прерывать, а то он теряется, сникает, и становится даже жаль его. Не умею объяснить причину, ведь в жизни он вовсе не из тех, кого легко обидеть словом или поступком, не говоря уже о физической расправе, — хотя бы из-за специфики его работы. Через четверть века людей его профессии и астронавтов будет, наверно, поровну. Но вот выпендривается, ломается... Будто благородная институтка перед матросом с восставшего броненосца, безоглядно спешащим (и опаздывающим) в революцию... И так же, как матрос, начинаешь раздражаться.

Как водится, после продолжительных уговоров, братец все-

таки соглашается говорить, пускает слюну и, уплывая в любимую свою партию, травит меня повествованием без четкого начала и с более чем неопределенным концом — легендой о Галине Васильевне. Именно так зовут ту, КОТОРАЯ...

Собственно, помнится смутно, какая она там разэтакая внешне. Но когда подзарядишься от способного рассказчика, то и посредственное воображение напишет образ — куда там Пигмалиону! Впрочем... Да, нечто миленькое (может, и красивое), безусловно стройное, хотя... кость широковата, и характерец показался мне прескверным, и... нет, не стану. Бог с ней. Так часто о ней слышу, что иногда кажется, будто сам с ней встречался, больше того — детей совместных собирать соби- рались.

Лучше все-таки, если я рассказ братца воспроизведу в деталях, нагляднее будет и понятней.

Вот он усаживается и настраивается, будто ему предстоит карябать знаки реквиема, а не тешить мое захватанное, зано- шенное в бесчисленных историях воображение.

Все-таки чертовски талантлив братец — и в актерских ужимках, и в умении держать зрителя, и в мастерстве подачи материала! Тут много взаимодополняющего, нет лишнего и масса нюансов, конечно. Сначала (тише!) — настройка «при- бора». Мне чудится, тащит он себя к этому состоянию (срод- ни шаманскому экстазу) траурным маршем Шопена в собст- венной рок-аранжировке, где сумасшедшее и «жалистное» ги- тарное соло побеждает бас, где литр слезы на нотный лист. Умело сводит полутона души к одной ноте, в конкретную ми- нуту звучащей убедительнее прочих и, быть может, фальши- вой при других обстоятельствах. Это к слову о таланте пере- воплощения.

...Очевидно, что мы с ним разные. Я, например, еще сем- надцатилетним в дни особенно чувствительных личных драм спасался чтением в общем-то грустной истории про Буратино. Папу Карло мне не было жаль — обыватель и посредствен- ность, а вот Буратино — святая простота; этому в жизни не устроиться. К тому же деревянный...

Но вот братец настроился, и рассказ его льется (другого слова не подберешь), покуда — ближе к финалу — не «запе- тушит». Собственно, фальцет и есть знак окончания. Дальше он утирается.

Случается, я вредничаю и говорю ему... разное: про книж- ного червя, про фиговые страдания, про женитьбу, а также... потенциальных племянников. До-олго отмалчивается. Я из по- коления безнадежных неврастеников — молчания и натяжек в общении не терплю (или рву с кровью, или уж переговорю

с гордынею). Но тут все-таки брат родной, поэтому умоляю его.

И продолжается наша «тайная вечеря».

Мне в его рассказе важно и интересно всякое движение мысли, души, логики и чувства. Чем не моноспектакль, где за сюжетной канвой иногда просто не уследить — настолько подавляет личность актера?

Теперь рассказ брата:

— Дураки и алкоголики твердо убеждены, жизнь—это паршиво срежиссированный фильм, где актеры — пьянь, режиссер — гулена, а сценарист — алчное и изменное существо. Приплюсуй сюда мать-анархию, что правит бал. Нет, все-таки людишки — капризное, ленивое, неумное и инертное бузло, созерцающее то, чем ЗАПРАВЛЯЮТ ПРИБЫВШИЕ НА «ТАРЕЛКАХ». Немного таких, кто контролирует ситуацию вокруг себя, кто единолично монтирует свое кино, никому не доверяясь, — они во всех ролях, от актера до бутафора, и везде отработывают не фальшивя. Мы ратуем за то, чтобы и впредь НАШЕ дело справлялось по образцам из на-ра-бо-тан-но-го. Понимаешь, я в том же ряду...

Да, от такой преамбулы кого хочешь передернет. Я-то, понятно, претерпелся. Благо еще, что дальше-то вроде про любовь.

— ...Ты знаешь, брат, я был просто не готов, ну, еще не спело любить. Веришь мне? Я был в самом начале борьбы с собственным эгоизмом, а эгоизм и любовь... — что два паука в банке, там без вариантов — когда-то один будет жертвою другого...

Нет, не верю и не поверю никогда! Любовь и пауки... Здорово смахивает на психологическое тестирование, когда у первой группы вопросов (будто и не провокационных вовсе) единственная нагрузка — убедиться в настрое «подопытного» отвечать правдиво...

Видит мое смятение и вообще все видит, поэтому продолжает психологическую бомбардировку. К сожалению, и я все понимаю. Поэтому хочется обхватить голову руками, заткнуть уши чем попадая, но ведь может обидеться, тогда и до интересного не доберемся. Потом, когда эта страничка будет перевернута, мне станет легче. Поэтому уступаю, соглашаясь с тем, что мы действительно по-разному смотрим на некоторые вещи. Только это — для его «внутреннего пользования»: ему непременно нужно, чтобы я раскинул кости в положение «ля» — сдаюсь. Получай, братец.

Безусловно, он просчитывает мою якобы капитуляцию, но дышит уже ровнее... Бог с тобой, братец, давай потчуй меня дальше выдержками из глав своей жизни, в надежде, что там я не сумею отделить «зерна от плевел».

— ...Получил от нее письмишко, объемом с газетный разворот, а в нем убористым почерком первокурсницы столько наворочено... Заплачешь. Я и эпиграф из классики к нему сразу приладил: «Давайте поплачем по плачам, по плакальщицам на Руси...» Письмо такое:

«Добрый день или вечер. Удивлен? Конечно, я. Тебе ведь все труднее преодолевать удивительные снега небывалой зимы — «идут белые снега». А прежде ты все умел, я даже удивлялась, — ты помнишь? — откуда в одном человеке столько талантов. Но это когда-то. Теперь эпистолярный — единственная связующая нить. И это-то нам в утеху?.. Но, знаешь, как-то хватает. Есть в этом свои преимущества: не забирает много времени и надежде оставляет место. Хотя я заметила: в свойствах бумаги, покрытой вязью твоих слов, — приуменьшить, сгладить запущенное как намеренно-жестокое до сиюминутного, непродуманного, нечаянного... Особенно уплощает, трансформирует в сторону уменьшения любую из начертанных тобой формул — уничижительность. Есть ощущение, что ты рвешь жилы, ползешь в гору с этими формулами, доказывая, какой ты нерядовой, а затем, добравшись-таки, направляешь смачный плевок с самой верхотуры и... — точнехонько в душу. Смотрите, мол, я просто поганенький пацан-пачкун, и неча было на меня таращиться влюбленными глазами. Хочется верить: все это — нечаянное, оно действительно должно прощаться, в силу неписаного закона о БЕЗОТВЕТНОЙ. Тут грех что-либо испрашивать у жизни, при собранном-то мною венке из ошибок...»

Еще потому не верю брату, что он прерывает повествование (как теперь чтение письма Галины Васильевны), чтобы «потрясти» бандероли.

Обширная переписка на всесоюзном уровне. Намекают (будто про тайну за семью печатями), что отправлял послание самому Ричи Блэкмору и будто получил от него в подарок миньон с автографом. Переписка отбирает у брата ежевечерне часа по четыре, а длится уже полтора десятка лет. Не знаю, что заставляет это ненормальное сообщество гробить лучшие часы суток (и жизни!) на дело, которое ни дивидендов, ни путевого общения не дает.

Вот так «прервется на часок», изучит корреспонденцию, ко-

ротко отпишет адресантам, набросает план, кому и в какую очередь записывать на магнитопленку, и принимается за всегдашнюю молитву — вскрывает коробки с присланными пленками, выборочно прослушивает, сопровождая это действие возгласами:

— А это что у нас? Ага, Джетроталлик... В дописочке? В дописочке Ричик с Блэкмориком.

Что же, у нас Джиммик — покойничек — единственный нестудийный концерт, и тот с «песочком». Ну уж нет, Петр Козьмич, непременно поблагодарю вас за Хендрикса!

И будьте уверены, поднимется в четыре утра (разница во времени), чтобы поблагодарить далекого Петра Козьмича из Батуми, ну и до полпятого поднимет на ноги весь дом, а после этого примется за какого-нибудь Адахама Фазыловича с окраины Каракумов или за дядю Петю с Диксона.

— ...А что у нас в компенсацию за «двойничок Помидорчика» — первый по «Билборду»? Ага-а, Полик Макаренко!

Делаю для себя открытие — брат умеет победить настроенье, потому что следом за «Поликом Макаренко» неожиданно следует кусок из оригинала, — того же письма Галины Васильевны:

«...Не подумай только, что я уже заскулила. Еще не плачу. Гляжу в окно, а там...

Когда-то ведь и мы откатимся, а будет это обязательно зимой, и чтобы вырыть могилку, придется перевернуть гору снега, потом еще более холодной земли. Землю нужно греть или отваливать клиньями — приспособлениями для разработки мерзлого грунта. Я видела, как это делается. Стояла на кладбище и смотрела... Когда умру, последний приют подготовят с помощью таких вот приспособлений инквизиции.

Скоренько пробежалась (не лето!) мимо крестов и памятников и решила, что все-таки не поровну воздается людям, хоть вроде бы все равны перед жизнью. Зачем излишества? Сама-то не уверена, что удостоюсь слезы в день похорон...

Но памятник мне ты все же поставишь. Знаю твою паршивую сентиментальную натуру. Сначала долго-долго будешь себя уговаривать, что есть и другие способы отмазаться, но однажды «случайно» будешь проходить мимо моего неубранного бугра, дернешься, продашь один из своих магов и слепишь... Что это будет? Разумеется, композиция в стиле Дали (тебе же еще приводить и приводить к моей могиле и резвого братца, и новых баб...) Я вижу это так: на шлифованной гранитной плите — разбитый маг, пара драных пленок и засушенный плевков — тот самый. Вместо пояснений.

Все так. Я ведь знаю, что когда мужик просит помиловать его, оставляя на бумаге пятна с секционного стола, то я уже далеко зашла в своем желании. А если вправду, ты что — на покойниках своих пишешь мне пространные послания? Если так, то изрядно, друг мой, опустился. Я ведь говорила тебе, что только с такой душой-бабой, как я, ты можешь избежать полного разложения, наподобие этих... из морга.

...Снег. Стоя на кладбище и созерцая процесс приготовления, замерзла. Дядьки заприметили меня, убогую, позвали к костерку и, ни о чем не спрашивая, угостили водкой. Должно быть, приняли за родственницу кого-то из тех счастливцев... Согрелась, разомлела от выпитого и, знаешь, глядя на огонь, чуть не уснула. Слишком много думала о тебе, и о себе тоже, — устала. А перед этим натужно вспоминала строки — все, какие знала, о зиме, о снеге, о водке, о любви... Сделала открытие, в ценности которого, впрочем, можно усомниться, — эти слова и понятия часто соседствуют. Снег, например, бывает и голубым, и розовым, и злым, и добрым, искристым и даже черным, предвестником перемен и прощальной песни спутником невольным... В общем, со снегом так же непросто, как и с психикой поэтов — людей с сердцем-индикатором для запредельных частот.

Засыпано все! Кустарники, беспощадно остриженные, кажутся из окна неправдоподобной величины одуванчиками — растениями из Гулливерии. Или там ни слова об этом? Все равно. Тогда сравню их с бедными собаками — теми, что причислены к клану «боксеров». Им обрезают хвосты, оставляя такое, для чего трудно найти слово, достойное собаки. Оттого боксеры, по-собачьи комплексующие, носятся неприкаянные, пристают, норовят ткнуться в каждого обвислыми складками морды, а в глазах — вопрос, вопрос и вопрос... Гавкают иногда, обдавая вас слюной, и мчатся дальше. Подозреваю, что их морды — тоже предмет новации. Много лет назад ЧЕЛОВЕК поднял с земли кирпич... Или кирпичей еще не было?..»

Но это все, если хотите, лишь преамбула. Я просто обязан был сделать вводный очерк по поводу его отношений с Галиной Васильевной. Теперь осталась самая малость — рассказать о стараниях братца удержаться на двух плотях сразу. Кажется, будто бы уже все, но вот одной ноты — важной — в партитуре еще недостает.

Однажды в воскресенье забежал к нам Гела — это сотрудник брата:

— Мастер, назови мне прецеденты, живописующие реальные перемены в обществе. (Он сказал: «...прецэдэнты, живо-

пысующие пэрэмэны»). В этой тираде не стиль, в ней — естество Гелы.

— Перемены? О-о, сегодня это труднейшее из занятий.

— Не скажи. Заглянул вот в «Мелодию» — и что ты думаешь? Всего за двадцатку отхватил пластинки с твоими Ричиком и Макаренко, не говоря уж об этих темнокожих «вэртихвостках». Я прикинул и оказалось — общество получше в пятнадцать с половиной раз! А ты мне — нет прецедентов. Не хочешь замечать хорошее. Ты не патриот страны («нэ патрыот»).

— Я думал об этом, Гела, и верю тебе, что жить стало лучше. Хотя дело, конечно, не во флюидах, тобою выпускаемых, а в вульгарной доказательности... Теперь скажи, откуда умная бредешь ты, голова?

— Я шел спасти твоего брата — прервать вашу беседу о цветовой философии. Словом, есть срочная работа.

— Спасибо, Гела, угостил называется. Наверняка жареный пьяный кочегар.

— Нет, писаная красавица, заплутавшая в рождественских снегах. Наш кормилец — майор из следственного отдела — требует заключения об изнасиловании. Это, понимаешь, сходится с его гипотезой.

— А антитезу твой майор не хочет, а! — брат сделал расслабленной кистью движение ниже пупа. — Любимейшее воскресное блюдо — молодка на секционном столе! Юной, Гела, даже я, существо не сентиментальное, постесняюсь затолкать грязное тряпье в коробушку, чтобы как-то вернуть естественные очертания и формы. Спасибо, Гела.

— Зачем на мэна сэрдысь? А дэвку жалко: сманыл ее, крэтын, напоил, обыдыл... Плохой у вас народ. Оч плохой! Наш народ даже последни б... уважает, а уж жизн лишат — извины.

Но брат не спешит в прозекторскую, он тянет время в вечной их с Гелой игре: брат будто трудно отрывается от любимейшего занятия, а коллега его старательно уговаривает... Брат просит десяток минут, чтоб «посахарить душу», и, заручившись обещанием ждать, продолжает читать письмо так, чтобы мы с Гелой слышали его всхлипы на самых интересных местах — как и положено современному Пигмалиону. Подозреваю, что он не вскрывал это письмо дня четыре, специально, чтобы выпендриться перед другом.

«...Сегодня приснился кошмарный сон — слоники в ряду без конца. Не иначе, выйду замуж за негра.

Слушай, сухарь панировочный, меня здорово обидели сло-

ва из твоего последнего письма. То ты просишь не лепить из тебя идеал, то воешь по поводу своей прозаической специальности и скудости бытия (мол, оклад не дает фантазировать на предмет любви), а то намекаешь на какие-то неведомые «более весомые причины, не позволяющие преступать известную грань». Кому нужен этот собачий вой, а?

Я впервые написала тебе после экскурсии в заведении... где покойники в лежащем строю. Я видела, как ты пашешь. Оставь наконец практицизм и трезвость для тех, кто в этом строю.

Вот в другом ты прав: подзадержалась я в детстве, да и от НЕГО не умею уйти. Хоть бы позвал вполкивка, единственной улыбкой. Что еще удерживает? Понять бы должен: ну, не рядовая я баба, не рядовая, как-то бы позвать меня надо....

Я столько сегодня сказала!.. Немного отомщу, отсыплю, отбавлю из посуды, которую мне пить до дна одной.

Кажется временами, будто ОН — вовсе не ОН, а бог весть какими судьбами явившийся из Рима папский агент. Подкован, велеречив, исполнен достоинства — на всю шкалу своей миссии... даже когда трезвый. Его «рабочая» поза — левый полупрофиль, наиболее выгодный, почти Цезарев. А когда хрустнет тонкими, в замок сложенными пальцами, вперив глаза-шила в мое плечо или ниже, где... все остальное, у меня возникает ощущение наготы и незащищенности. Ругай не ругай себя, что взгляда удавьего не выдержала, — назавтра все повторяется: и рабская полуулыбка (все-таки соержанка), где угодиичество замешено на страхе, и...

Дернет рукой — хищной, как у карманника с пожизненным стажем, — по струнам, физиономией заиграет и замурлычет беременной кошкой:

У соседа денег много —
И любовница умна:
Ходит чинно, смотрит строго
И всегда ему верна.

Ощущение — пишет по огромному полотну. Контуры героев еще неясны, но я там присутствую. Ух, боюсь этой демонической натуры! Ты забрал бы меня, что ли?.. Говорит: завтра, если «Волга» заведется, выезжаем на дачу. Вот бы завел он свой белый катафалк (я каждый раз холодею, когда он вывозит меня «в люди»), а тут ты... С каким бы удовольствием прошлепала до твоей хрущобы эти несчастные три кило!..

Послушай, такой снег, такой снег... Сегодня мне не уснуть...»

Что там брат в этом письме вычитал? Еще не знаю. Лишь вижу, как по мере чтения меняется его лицо...

Брат с Гелой уехали работать. Тогда я, конечно, многое не почувствовал, а успокаивал себя тем, что когда-нибудь из красиво построенного рассказа узнаю все «в цвете».

Узнал я это (и потом слушал еще много раз), когда брат вернулся домой. Узнал, как и что он испытал на пути к моргу, идя к столу... Голые синие ноги и страшный отек (труп некоторое время был в тепле)... Как откидывал, — нет, стягивал — простыню... Совсем те же светлые, слегка волнистые волосы, прозрачная кожа... Первый, через невероятное усилие взгляд на покойную...

Позже он всякий раз убеждал меня, что это были самые страшные мгновения в его жизни. «Страшнее, чем перед первым прыжком с парашютом?» — каждый раз спрашиваю я себя.

Но полно. Это была не Галина Васильевна... Ее брат нашел дома, укрытой пледом, за чтением моэмовского романа с экологогеновским героем. Нашел живой и здоровой, конечно. И больше того: оказывается, не было ни папского агента на белой «Волге», ни даже снега с целебными для травмированной психики свойствами. Как это мы оба не сумели все сразу увязать?.. В общем, нашел живой и здоровой...

Я узнал это через сутки, когда брат вернулся от нее. Вернулся к своим пленкам и трансконтинентальной переписке со столь же сумасшедшими (сомневаюсь, правда, что те смогли бы отказаться от красавицы из первой десятки нашего богом забытого и засыпанного пылью городишки). Пусть больших снегов у нас действительно не бывает, но Галина Васильевна-то есть!

...Я устал, брат, от твоих рассказов о ней: тебе уже тридцать, а я — твоё отражение...

— Она же красавица. Даже больше, чем Натали. За такую не грех и жизнь положить. Но штука в том, что я — не Александр Сергеевич... А нужно соответствовать.

Меня бесит это уничижительное «нужно соответствовать». Мухомор! Надо брать, а не соответствовать! Но он по-прежнему копается в пленках без числа и без системы, где «Макаренко» (родом из Ливерпуля), а еще Ричик... с Блэкморриком.

Монолог второй: Дым над водой

...Ни единой чистой, бессмертной мыслишки... Жизнь... В ней все перевернуто с ног на голову, и это не придает силы и бодрости душе, силы и упругости телу, упругости и легкости мысли, легкости и свободы поступкам. Но последнее — уже

следствие. Ибо нет места бодрости и силе в душе. Страшно! Замкнутый круг? Нет, внутренняя хандра, тягучая и неотвязная, — от злой реальности. А замкнутый круг — он среди самых распространенных фигур геометрии жизни. Особенно — жизни неудавшейся, когда неуспех многих лет вышиб из двери на верхнем этаже и ты катишься по лестничным пролетам...

Если эта песенка о черной лихорадке в любви, то в ней мало веселого. Но, может быть, вовсе и не песня, а рондо на манер «Ярости по поводу потерянного гроша»? Сатира тут преимущественно злая, а грусть... грустная, как ей и положено.

«Смоук ин зэ уота» — дым над водой. Состояние как то, что выражено лучшим из южных поэтов: «Делаю первый шаг, а думаю о последнем...» И самое невеселое — полное отсутствие декларативности, голая правда. Тут не обманешь себя даже в малом. Разве что забыться? Способов много, хотя все они — паллиатив. Да и поздно о чем-либо заявлять: всё, что мертво, — то на плаву, а мертво все!

Смешно вспомнить, было время, когда спорили с девчонками о том, где граница, какой отрезок переходный и в какой момент умирает надежда («надежда умирает последней»). И если смешно, то смех не мой, недобрый. А граница... Да вот же она: оставили смутные волнения, незачем уже ловить потаенные взгляды, в глазах лишь уголь догорающий, ну и складок на фейсе прибавилось. Вот вам и граница. За нею ты — нарушительница официальной морали. Так-то.

Но что толку в этих знаниях задним числом?..

...Чудом удалось выскользнуть из дому. В сенях сбила пустой бак из-под воды. Ударившись о стенку, он перевернулся и загрохотал «подъемную» окрестным дворнягам. Они — бесхвостые, безногие и щербатые — откликнулись простывшими глотками — и снова по будкам или по другим убежищам. А я уже проскочила в калитку и бегу по улице, через мост, утираю слезы и ругаю себя на чем свет стоит. «Боже, ну когда этому придет конец? Или неумеха я?..»

Еще квартал прошагала и лишь тогда, успокоившись, ощутила: морозно, снег идет, цепляется за еще теплые волосы, нарастая на голове до объемов оставленной при бегстве шапки. Снегу-то! Он наваливается на ветки задубевших тополей и черемух. Сонные, они уступают — нет характера, принимают груз, временные обязательства, за которые не надо держать ответ.

Где они — временные и необязательные? Только постоянные невыносимым ярмом. И будь добр, человек, соответствовать по-надцати пунктам стократ правленного катехизиса (так что теперь до оригинала и не добрать). Но краткость — одно-

му таланту сестра, остальным, похоже, — мачеха. Значит, нужно терпеть длинноты, тут без «воды» не обойтись. Конечно, можно все бросить, но тогда что останется мне — засасывающий быт, поденщина?.. Нет ничего скучнее и бессовестно-пространнее, чем проза «жичи».

...Постучала в уголок обитой дерматином двери — поближе к дереву, скорее сбудется. Открыл сразу, и — удача! — сегодня один. Как тут не верить в приметы?

— Аллочка?..

В его вопросе, — это я, тренированная, читаю с любого языка, — на десять процентов удивления, на полпроцента радости, остальное — нарастающая потребность самца и еще нежелание связывать себя больше, чем на процедуру гормонального обмена.

А может, ошибаюсь? А вдруг?

— Как видишь, — осаживаю его с ходу. Не хочется зряшных слов. Ветер с корнем вырвал мою нежность и снег засыпал желание слушать обязательную программу...

Прикрыла за собою дверь. Тепло. Хорошая штука — этот брехунами шестидесятых заклеенный, пресноватый, простенький коммунальный уют. Он такой надежный. А сейчас надежда — главное. Правда в том, что чай пьешь ежеутренне, а привычку эту замечаешь лишь, когда кончается сахар. Здесь уютно, и музыка другая.

Он был без малого умен,
Она без малого красива...
И жизнь текла неторопливо,
Весьма похожая на сон.

Ясно и незрячему и глухому: купается человек в нюансах отношений, где неабстрактные ОН и ОНА. И правильно: это нужно писать исключительно с натуры — ведь не для технического журнала: карандаша и головы здесь маловато.

«Смоук ин зэ уота» — не туман, а дым над водой. Даже прислушиваться не нужно: если в этом доме я, то динамики его дорогой штуки выдают Лорда, Гиллана и Пэйса, а Ричи, наверное, с помощью черта управляет там струнами и нашими грешными душами. Искала в этом какой-то особый смысл, но не нашла и решила, что хозяин квартиры едва ли способен на интеллектуальные изыски, это не его горизонты. Да и я не чеховская Чайка, чтобы разбиваться в поиске их. Птица я, конечно, бесценная, но только потому, что грошовая. Подстрелил меня удачливый охотник на излете юности — вот и падаю со свинцом под «наволочками грудей», уже никому и почти никак...

А чай, знаете ли, пьем (ни шагу от регламента). И дальше тоже без отступлений: как обычно не церемонится. Рассчитывала остаться до утра: все-таки дым над водой — проникающее ранение, а ведь и самый раскоммерческий госпиталь планеты — и тот не выбросит страждущего на улицу, если уже принял.

Нет, дым-то дым. Да я — пятый туз и в игре не значусь. «Ненавязчиво» и почти без слов помог одеться (показалось, в чем-то мстит):

— Но ведь правда, Аллочка, ты меня поймешь? А гонорар — за мною, пади я жертвой рэкетира.

Еще и двадцати двух не было, когда запоздавшим баркасом вернулась к причалу: кабак зовет огнями. Мальчишки приглашают к столу — а вот нет, не пойду. Вечер-то заканчивается, надо наконец побороть обстоятельства, самой диктовать, и тогда мутное уже, но еще человеческое взбурлит. Чур, не пускаться по воле волн... Я говорю с собою, я гляжу, я решаю. Решила, что поеду сегодня вон к тому, — на бежевой «Тойоте».

Не сопротивлялся, но и не кривлялся, строя из себя пройдоху вроде героев Бельмондо, хотя профиль у него — четырехколесного чуда с горбинкой. Право же, смотрится. И глазки не строит, как «голубенький» или начинающий. Любопытно в человеке найти человека, приятно подметить, что индекс своего «я» не завывает. И что раньше прочего — на «табло» двадцать два двадцать.

...Домой не повез. Все получилось. Все получилось быстро — в двадцать раз быстрее, чем хотелось. Однако под резинку сунул порядочно кредиток (хотя, как сказать). Показалось, счету этим самым кредиткам не знает, плюс еще дальтоник. Человек без комплексов. А вот понять меня не сумел. Не захотел или не входило в задачу?..

В двадцать два пятьдесят я снова у пристани, но шагаю уже по битому стеклу надежд. Зайти внутрь и напиться, довериться случаю? Холодно, очень холодно. Напьюсь — и кто даст гарантию, что следующий, дотавив до ближайшего подвала и слазив под резинку, не оставит меня «синюшникам»... Кто тогда я буду завтра, и буду ли?.. Ну что за день такой подлый?

Последнее решение уходящих суток: уеду вон на том «Жигуле», что под фонарем. Тридцать — десять. Эй ты, 30-10, отзовись! Я поставила на тебя.

Человек с номером 30-10 и с мелкоблатными замашками оказался бессовестно юным и наглым. Но что делать — поставила. Вези меня, 30-10, рада уже и тому, что не оказался

ты ни коньком-горбунком, ни облезлым жеребцом на покое, ни владимирским тяжеловозом (при моем-то остеохондрозе) — опустившихся, обрюзглых и пузатых не переносу!

Он сказал: «Повезу тебя, мама, по местам моей боевой славы, потому как родичи дома, а к тебе тоже не поеду: однажды уже выпрыгивал с третьего этажа в облегченной форме одежды, потому не верю, что бывают хазы-железяки».

Колесили долго. У его друзей во времянке не захотела оставаться я. У бабушки в бревенчатом, пропитанном специфическим культовым духом, отказался он. И бабульку следовало пожалеть. Пожалели.

Пили, конечно. Сперва брагу-трехдневку, потом настойку боярышника. Но 30-10 все еще мало, хотя после каждого привеса стоит трудов вписаться в поворот и желтые глаза светочеров, по-моему, уже лезут из орбит...

Он вспомнил: на щитке есть встроенный магнитофон. Включил — и показалось, что тарелки динамиков выпрыгнут и разобьют голову. Пьян был отчаянно.

В студенческое общежитие пробрались со двора — он в форточку, я в отворенное им окно. И тут впервые замаячила надежда: остаюсь. Кстати, на табло — половина первого. Сказал, успокаивая: «Не робей, клякса, никого нету... все спят».

И вышел «всего на пару минут», и больше уже не вернулся, конечно.

Те, которых сначала не было, а потом они спали, света не зажгли. Их оказалось четверо. «Осветили», когда на ощупь включали магнитофон и индикаторный огонь в сотую свечи качнулся в сторону перспектив. Им этого вполне хватило. А началось все, когда вложили кассету со «Смоук ин зэ уота»...

...Утром все ушли рано. А я еще повалялась в постели. Но все-таки комнату — на удивление ухоженную — покинула раньше, чем они вернулись. Собственно, встречи все равно не миновать — придут к нашей пристани, чтобы или вернуть или спустить деньги человека, привитого от завышения собственного индекса. Значит, «по нулям» — минус как раз пришелся на плюс...

...А вообще день сегодня знаменательный — впервые сажусь за руль собственного чуда умопомрачительного цвета, с фиатовским мотором. Если разрешите, я — птица-феникс. Я рассчитываю на возрождение. У меня на щитке будет кассетник — и молодая еще, и обновленная, — я воспарю. Кассета, конечно, единственная и с единственной записью — «Смоук ин зэ уота». Мой индекс также — единица. Не больше, но и не меньше.

Монолог третий: Два ведра грусти

Грузди попадаются один другого хуже, и пробавляться по этому поводу надеждой — неблагоприятное занятие. Давно нет дождя.

Поковырял палкой у куста орешника, обнаружил еще одно гнездовье. Четыре или пять кривошляпых. Два еще молоденькие, но тоже суховаты. Надо поискать ниже, там влага задерживается дольше. Хотя нет, — ветры в несколько солнечных дней высушили перелесок. И все-таки быть дождю, это очевидно. Вон облака сбились в горы, будто небо — кухня коммуналки и огромные белые бабы трутся задами у единственной коптящей печи. Дело за малым — отдадут влагу паровые горы — и тогда, что называется, с полной уверенностью являйся сюда через пару дней, успех гарантирован. В остальном все за то, что это место верное, грибное. Или перейти овражек, попытать счастья на южном склоне, где береза и осина? Там будут и белые, и осиновики. Они к сухости терпимее.

Однако прогноз оправдался досрочно. Дождь. Пока слабый, будто зав. дождевым хозяйством еще в раздумье, но надежд ждать доброго ливня.

Окликнул дочку, и поспешно зашагали к машине. Черта с два — врезал отчаянно, сухими не добрать! Крупные капли жестко, с оттяжкой лупят по голове и по плечам, рассыпаются на сырую мелочь, а та бежит по шее и рукам, льется за шиворот. Бежать?! К машине?! Ну как можно — главный ливень года!

Остановились на полпути — под навесом склада удобрений. «Получили четвертушку от возможного в эту минуту комфорта», — заметила дочка вместо предварительной оценки укрытия.

Частые прорехи в потолке, сквозняки... Дальше, с противоположного края, есть угол, закрытый получше. Перепрыгивая через лужи, минуя вертикали разномошно падающей воды, добрались до этого угла. Впрочем, и тут два ручья с потолка. Ладно бы только это, но вода намывает глиняную кашу вперемешку с удобрениями и несет ее все ближе и ближе... Вот вот угостит. Два наших ведра делают этот процесс управляемым.

Дочка придвинулась поближе, копается с магнитофоном, перебирает кассеты.

— И хочется тебе носиться с такой бандурой?

— Хотца, и много больше, нежели с ведром. Чуешь, — ответила в стиле прогрессивного потомка покойного Хирохито?

Как считаешь, ученым быть ему больше нравилось, чем императором?

— Что у вас за привычка: крыть вопрос вопросом, а?

— Папе-ец, а возьми-ка мне на пятнадцать лет «Уокмэна», вот и отпадет у меня надобность вопрошать. Договорились?

— Это что еще за бедовина тебе требуется?

— Кассетник карманный — для усыхающих.

— Ну ты-то, слава богу, телка здо...

— Пока да. Пока.

— Во всяком случае, тебе до пятнадцати еще целый год жизни... А музыка у тебя какая-то... недетская.

— Марк Нопфлер «Прайвэт инвестигейшн» — «Поиски истины». Хочешь переводик?

— Да я и так чувствую: грустный твой «Прайвэт».

Тем временем дождь лупит по рубероиду крыши, и вода льется, льется через старые, а может, и новые дыры. Желанию природы выплакаться нет удержу.

Опорожнил ведра, поставил на место — под струи.

— Кокетка этот твой Нопфлер.

— Чуть-чуть. Но зато гитарист и аранжировщик каких мало. Пишут: сам Ричи, пребывая однажды в энной степени опьянения, поставил Нопфлера выше себя. Впрочем, чего не напишут... Важно — талантлив, а еще обаяга.

— А?

— Ага! Обаятельный, говорю. На тебя, к слову, похож. Главное — залысинами.

— Откуда знаешь?

— Вся стена в фотопикчез. И потом по ТВ, случается, кажут его вместе с Эриком Клэптоном. Вспомни, мама еще говорила: «Смотри, Лешик, когда я тащила тебя в загс, ты был точь-в-точь Клэптон». Вспомнил?

Много чего мама говорила, зато теперь вот умотала...

...Быть может, я за эти годы опустился, плавненько так, до ручки дошел? Потихоньку, незаметно, помалу, по пунктику, как говорится... А ведь клялся: мол, буду стараться ни единожды не явиться пред очи твои в нижнем белье — ни в прямом смысле, ни в переносном, ни наяву, ни даже во сне. Однако ж бывало, являлся. Как-то на шестом, кажется, году совместной жизни — нализался, как поросенок, а чего вытворял... Долго после ходил с работы «галсами», очи поднять не смел.

А году на девятом был случай: дочка тонула. Здорово струхнул. В луже барахтался... как гольян. Конечно, дочурку выловил, и все бы ничего... не будь мгновений перед тем. Такое эстается в памяти желтыми пятнами, не отмоешься.

По службе не расту. Вместе окончили, женушка уже на но-

вом месте — главная, а я и на первом — все зам. «на кольях», как говорится. Нет меня ни в чьих планах «по росту». Так может быть, и правильно сделала, что уехала?..

...Дождь пошел волнами: подержит лейку над сопкой, выполощет деревья, траву, кусты и перекидывается на соседнюю, в том же порядке. Видно, как тянется за основным потоком шлейф. Вот остановился над крышей хранилища, и под нею пузырится, закипает, несется в проемы между полом и деревянной стеной. Доски внахлест — слабое препятствие. И все живет радостью открытого крана небес, опрокинутой лейки, все подчинено воде.

Еще раз опорожнил ведра.

— Твой Нопфлер — он старый?

— Не очень. Во всяком случае, я согласилась бы иметь с ним дельце.

Дельце... Соплячка!

Ну да, матери все равно: пусть дочка экспериментирует с единственной жизнью... Вопиющее, бессовестное, наплевательское — это нематеринское, это... Так бездумно все бросить!..

Но было же время, был в порядке и я. Например, когда в волейбол на институтских играли, еще при здоровьишке, так над сеточкой выпрыгивал чуть не по пояс. «Культия» добрая была — любой блок прошибал запросто. Было времечко — и гордилась. Дачу построил — все знакомые завидуют. Все, как заказывала: в два уровня, с санузелом. Сад разбивал — сколько нервов положил! Землю завозил, саженцы через всю страну пер, копейку угрохали... «Может, если б не дача, ездил бы на «Волге», а не на «керосинке». Хотя, наверно, привираю.

Или все беды — из-за разногласий с тещей?

Тогда я пас! Выше ресурса подорванных сил. Не теща, а какое-то кричащее, рвущее на куски НАДО. Надобно делать так... Не нужно делать эдак... Антон Семенович в таких случаях... — лишь куплет ее любимой песни. Прибавьте сюда припев: «Надо, нельзя, ни в коем случае и ни за что...» и тогда вычисляйте, насколько тут хватит рядового мужика. Сама ведь устала от чудодейственных целительных советов своей мамы. Собственно говоря, и судить-то нельзя тещу — бывшую училку с полуторным педстажем. Но и себя в данном «кучерявом случае» нельзя не простить.

— Зачем у тебя во всю кассету этот «Прайвэт»? Будто и послушать нечего. Куда подевались Кристалинская Маечка, Магомаев, Хиль, наконец этот...

— Сложный вы народ, старики. То разговоры ведете: мол, не спешит юная поросль задуматься о дне грядущем, над тем, как найти верный и единственный, а то вдруг бросаетесь об-

разчиками нехудожественной критики... И потом мама говорила: я вся, до последней запятой, — в тебя. Поэтому включай автоопросник.

Он и не выключается...

...Теперь догадываюсь: червоточина появилась, когда на дочкином дне рождения соседка Любаня, перебрав, лезла ко мне, и непременно взасос, да еще принародно обещала, что «когда ваша мама заночует с годовым», она, Люба, заночует со мною и уж это будет на уровне высшего пилотажа.

...Дождь уходит, дождь умыл землю. Какой он был? Нет, не голубой, зеленый, белый или оранжевый... Не цвета и оттенки играли в водных струях. В них были времечка бег, да памяти вкрапления, да еще настроения капли...

Дождь разметал и прибил траву, распушил листву, обмыл стволы деревьев. В лес теперь не войдешь, да и незачем.

— Папка-а, нарисуй, как выбраться отсюда...

— Запросто. Хорошо стоим.

— Вот мокрые штаны на мне стоят, это вне всяких разных.

...Врубай каменок ...печурку включай!

Малым ходом выбрались на твердое, и побежал «Запорожец» по хорошим дорогам, что вымощены меж полей мелиораторами.

Да, вот и получается в жизни: звоним об инфляции, рупь у нас дешевет, видите ли... А где уценка-то? Не в нас ли самих? Инфляция — как еще точнее сказать? Не бывает точнее.

Шлепала ведь милая языком по стенам: «Давай условимся однажды и навсегда: друг без друга — ни шагу! Даже на июньскую дачную жарку или там горит путевка на самый-самый раскурорт...» И что теперь? А теперь — инфляция...

Доехали быстро. Покуда закатывал машину в гараж, дочка, перепрыгивая через лужи, понеслась к дому:

— Скоренько чего-нибудь сготовлю.

Смахнул тряпицей грязь с лобового стекла — совсем немного. А дочка высунула в форточку руку и следом — пригоревший на солнце нос:

— Папка-а, телеграмма! Дли-инная. Слухай: «Дорогие мои мужчина и женщина восклик Если не вычеркнули меня из списков встречайте двадцатого восклик Бегу отсюда сил моих этом курорте нет». Двадцатое — сегодня. Заводи свою срамную телегу, едем!